

Общую типологию человеческих смертей условно можно разделить так: бытовая (болезнь, медицинская ошибка, травма, автомобильная или иная катастрофа, смерть от стихийных бедствий, самоубийство, не связанное с идеологией, и т. д.), насильственная (уголовное убийство, казнь, пытки, оставление без помощи, смерть на войне), героическая (жертвенная гибель ради тех или иных идей), случайная. Можно предложить и такие градации: смерть частная и общественная, возвышенная и анекдотичная, профессиональная и любительская, религиозная и атеистическая, красивая и безобразная и проч., и проч. Но дело, конечно, не в рубрикации и типологии. Дело в самом феномене, в «качественном» изменении личности в момент перехода в «инобытие», называемое в просторечии «смертью».

Давным-давно родилась мифологема «Смерть поэта». Именно поэта, а не композитора, архитектора, геолога, врача, инженера или представителя иной профессии. Впрочем, вряд ли поэзию можно назвать профессией. Поэтический дар сродни пророческому, а пророков во все времена побивали камнями. Да и сами они охотно летели на обжигающий огонь слова. Не всегда смерть поэта — это тюремная камера, петля, пуля, яд, алкоголь или наркотик; даже если место действия — домашняя или больничная постель — это своего рода плаха, как было с Ходасевичем, Пастернаком, Кантом, Венедиктом Ерофеевым...

В любом случае смерть поэта,неважно, бытовая или экстремальная, мифологична, особенно в нашем отечестве, где на поэта спокон века смотрят как на экзистенциальную личность, о чём замечательно сказал Евгений Евтушенко: «Поэт в России больше, чем поэт...»

Здесь уместно поставить вопросы:

— Возможно ли определение поэта, отвечающее общепринятым семантическим кодам? Иначе говоря: почему мы называем поэтом того или иного человека?

— Связан ли тип смерти с сущностью поэта?

Размышляя о гибели (именно так: гибели!) Блока, Ходасевич писал: «В пушкинской своей речи, ровно за полгода до смерти, он говорил: «Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему больше ничем: жизнь потеряла смысл».

Выделим три типа смерти поэта: Вход, Выход, Исход.

Бытовая смерть. Обозначим этот тип смерти как «Вход».

*Примеры:*

Владислав Ходасевич, Алексей Парщиков, Нина Искренко, Владимир Ерёменко, Евгений Блажеевский, Дмитрий Александрович Пригов, Аркадий Тюрин, Белла Ахмадулина.

Самоубийство — «Выход».

*Примеры:*

Генрих Клейст, Эрнст Толлер, Надежда Львова, Маяковский, Есенин, Цветаева, Борис Поплавский, Юрий Карабчиевский, Ефим Зубков, Юлия Друнина, Александр Башлачёв.

Сюда же можно отнести фактическое самоубийство — например, Леонид Губанов и Денис Новиков.

### Экзистенция — «Исход».

*Примеры:*

Франсуа Вийон, Пушкин, Лермонтов, Эдгар По, Блок, Гумилёв, Владимир Нарбут, Владислав Ходасевич, Хармс, Клюев, Лорка, Мандельштам, Пьер Паоло Пазолини, Пабло Неруда, Бальтазар Бергамо, Пастернак, Марк Рихтерман, Высоцкий, Бродский, Джон Леннон, Арсений Тарковский.

На мой взгляд, интереснее всего тема «Экзистенция — исход».

Рассмотрим три смерти на эту тему.

### **Федерико ГАРСИА ЛОРКА (1898 — 1936)**

*«Зная извечную несправедливость, царящую повсюду, боль человеческую и море слёз, затопивших мир, я не могу не сострадать преследуемым: цыганам, неграм, евреям, ведь в жилах каждого из нас течёт и их кровь. Я хочу быть добрым и открытым и не печалюсь о своей смерти. Поэзия возвышает душу — дурман поцелуя, вина, заката, — из этих мигнов, из этих могучих всплесков чувства складывается вечность. Ни у кого нет ключей к тайне мироздания. Я испанец до мозга костей, но мне ненавистен всякий, кто считает себя выше других по одному тому, что он испанец, и мне отвратителен тот, кто, слепо любя родину, готов пожертвовать жизнью во имя пустых националистических идеалов».*

В августе 1936-го Лорка приехал в Гранаду, по которой уже сновали машины с отрядами фалангистов. В первую же неделю побывали в их доме и схватили мужа сестры

Федерико и через пару дней расстреляли у кладбищенской стены. Лорке стало ясно, что надо где-то укрыться. Он обратился за помощью к знакомому поэту, братья которого были видными фалангистами в городе. Решили, что поэт проведёт несколько дней в их доме. Не успел он убраться из родного дома, как туда нагрянули враги. Они обыскали весь дом, перевернули все бумаги. Допрашивая сестру, вынудили её под угрозой смерти отца сказать, что Лорка гостит в доме братьев Росалес.

16 августа группа активистов арестовала Лорку и доставила его в управление гражданского губернатора якобы для дачи показаний по одному из дел. Той же ночью братья Росалес, потрясённые случившимся, начали добиваться освобождения Лорки и наутро получили приказ военного коменданта об освобождении. Однако, прибыв с приказом к губернатору, узнали, что Лорка переведён в загородный лагерь фалангистов, в селении Виснар, который уже успел приобрести мрачную известность конвейера смерти.

Каждое утро выводили обречённых «на прогулку». Вели по живописной дорожке, сквозь оливковую рощицу, вдоль журчащего ручейка, оставляя тела жертв там, где они падали под пулями развлекающегося конвоя: одних — в придорожной канаве, других — в овражке. Позже пригоняли таких же, назначенных на завтрашнюю «прогулку», подневольных могильщиков, чтобы зарыть трупы.

Охота фалангистов на своих противников — явный аналог охоты людей Ирода на младенца из Вифлеема.

★ ★ ★

*Ты и не знаешь, как люблю тебя я!  
Ты стал моим божественным искусом  
Ты спишь во мне младенцем Иисусом*

Тебя я прячу, нежностью пылая.  
Волхвы и звезды судьбы начертали,  
Но жаждет Ирод истребить младенца.  
Холицовый снег ночного полотенца  
Тебя укроет от него едва ли.  
Хрипят, как скрипки, загнанные кони...  
Пускай вся стража все сады обыщет,  
Я не боюсь ни смерти, ни погони —  
Сквозь эту ночь спасу тебя, любимый!  
Ведь соловей перед рассветом свищет  
Блаженней и нежней, чем херувимы.

*(Примечание: здесь и далее все стихи иностранных поэтов даны в переводах А. Лаврина).*

Вот фрагмент интервью Сальвадора Дали, которое он дал группе журналистов в 1951 г. (*Расшифровка Гонсалеса Ибаньонса*).

**Патрисия Смит** («*Вашингтон Пост*»). Сеньор Дали, я хотела бы...

**Дали.** Не Дали! Гений Дали!

**Патрисия Смит.** О'кей! Гений Дали, как вы оцениваете...

**Дали.** Как?! Не как!! Никак!!! Я вам ни как, ни никак! Я вообще не какаю! Мне нет нужды какать!.. Я уже двенадцать лет питаюсь только солнечным светом! Разве вы встречали человека, который питается светом и при этом какает?

**Патрисия Смит.** А как случилось, что вы перестали... ну... как бы это сказать...

**Дали.** Смелее, смелее, сеньора...

**Патрисия Смит.** Перестали какать...

**Дали.** Я перестал какать в 36-м году, когда убили моего друга Федерико Гарсиа Лорку. Однажды он написал: «Смерть смотрит на меня со стен Кордобы...» Он погиб,

как Святой Себастьян. Он стоял у старых олив и читал свои стихи, а солдаты заряжали винтовки и пускали в него стрелы пуль. Он читал стихи, и у солдат дрожали руки, и винтовки их плясали. Они стреляли и плакали, плакали и стреляли. И пули у них кончились раньше, чем слёзы.

Вот стихи, которые он написал в ночь перед расстрелом:

*Солнце за морем ветвится, как куст,  
Гаснет, как марка на старом конверте...  
Раненых раковин розовый хруст  
Пусть  
и мерцает на простыне смерти.*

**Бальтазар БЕРГАМО**  
**(1900 — 1971?)**

\* \* \*

*Удивительное время:  
Время — бремя,  
Время — семя,  
Время — стремя  
у коня,  
Уносящего меня.*

О Бальтазаре Бергамо я узнал случайно, в конце 1980-х, в разговоре с Эдуардой Вольчич, женой Деметрио Вольчича, корреспондентом итальянского телеканала RAI-II (позднее его директора), и загорелся идеей реконструировать биографию поэта. Она показалась мне необычно романтической даже для той невероятной эпохи, в которой он жил. К сожалению, в моем распоряжении оказались лишь случайные сведения о Бергамо. Понятно, что выстроить из них здание судьбы невозможно. Посему мой труд можно

рассматривать только в качестве одного из камней в фундаменте будущего академического исследования.

Профессор Джорджио Неаполетано в эссе «Вера и неверие» пишет: *«Некоторые люди сомневаются в существовании Бальтазара Бергамо. Что ж, тогда давайте сомневаться в существовании чести, достоинства, вдохновения, в конце концов, даже любви! Впрочем, судя по трудам апологетов anti-Bergamo, вполне возможно, что вышеупомянутые душевные и духовные качества человека — суть плоды нашего воображения, прекрасные метафоры, которые мы принимаем за реальность. В самом деле: могут ли быть неоспоримые свидетельства того, что в доме № 7 на Via Settecamini всего полвека назад жила любовь? А если даже и жила — найдётся ли нотариус, который заверит это бледной сиреневой печатью? Но разве гениальные ритмы, рифмы и метафоры Бальтазара Бергамо не доказывают нам, что он действительно жил в нашем мире, ходил по одним с нами улицам, пил те же вина, читал те же книги, что и мы, так же наслаждался спагетти маринара, и, как мы, смеялся и плакал, влюблялся и страдал от неразделённой любви?»*

В 1946 г. Бальтазар Бергамо понял, что не знает, как жить дальше. Умерли все, кто был ему дорог. Они шли, но от подошв не струилась пыль. Они дышали, но от их дыхания не запотевали стёкла даже в самый прохладный день.

Бальтазар решил перебраться в Аргентину. Выбор страны был случаен — поэту понравилось её название — звенящее, как струна скрипки.

Прошло несколько месяцев после переезда в Аргентину — и в нашего героя влюбилась Консуэла Аурентис, вдова вне возраста, владелица небольшой табачной фабрики.

Не чрезмерно, но всё же состоятельная, она позволяла Бергамо одеваться у лучших портных Буэнос-Айреса, дарила ему серебряные и даже золотые перстни и несколько раз оплачивала его поездки в казино.

Видимо, тогда Бергамо и заприметили бандиты из шайки Порфирио Диаболиса.

Дождавшись, когда Бальтазар пересечёт границу Штатов и Мексики, они заблокировали авто поэта, схватили его и привезли на заброшенное ранчо, где обычно отсиживались после налётов на бензоколонки и мелкие банки.

Думая, что Бергамо богач, бандиты потребовали большой выкуп за его жизнь. Бальтазар отказался.

Негодяи применили крайнее средство — они зажали верхние пальцы правой руки поэта в тиски и стали их сжимать — медленно, миллиметр за миллиметром.

Ладонь Бальтазара не была мясистой, скорее, она напоминала опавший кленовый лист. Поэтому сначала затрещали костяшки, соединяющие фаланги пальцев с основанием ладони. Потом порвались поры кожи — просто поры, не вены, чуть-чуть крови, детский лепет, такое бывает и случайно. Потом дошло до середины ладони и, наконец, до основания большого пальца.

Через пару дней местная полиция его освободила (видимо, шайка Порфирио кому-то что-то недоплатила или постарались конкуренты).

К этому времени пальцы правой кисти поэта гноились, как почва, удобренная индюшачьим пометом.

Полицейские отвезли бедолагу в больницу.

Обозрев Бальтазара Бергамо, дежурный хирург удивился. Он никогда не видел такого живого лица у человека, который считай что мёртв. Он спросил, кто этот пациент, но полицейские не смогли ответить. Случайный иностранец, только и сказали они, ничего не говорит, а если говорит, то не по-нашему, почти без сознания.

Хирург осмотрел пациента, недолго думая, ткнул в лицо Бальтазара марлю, пропитанную эфиром, и ампутировал четыре пальца его правой руки.

Привыкший лечить местных бандитов после их разборок, хирург повидал всякое. Его так и называли — «бандитский доктор».



Иногда в операционную — простенькую, дощато-оштукатуренную, с единственным шкафчиком для инструментов, врывались бандиты с раненым товарищем, иногда полицейские, искавшие раненого бандита, иногда те и другие вместе. Словом, в жизни хирурга было всякое, что постепенно сделало его спокойным, как предутренный сон. Он просыпался, когда была нужда в его усилиях, звал операционную сестру, резал, зашивал и снова засыпал. Во сне он видел поле цветущих маков, бесконечное, от ног до горизонта. Это было очень красиво, похоже на платье тёти Хуаниты, которая забрала его к себе, когда умерли родители. В другой раз он видел, как вода поднимается к небу, распевая псалмы. Третий сон был самый странный: он видел себя, который рассматривает самого себя.

И всё же, несмотря на житейский опыт, хирурга удивило то, что произошло ночью.

Хирург уже наложил швы, отошёл, чтобы снять халат и вдруг услышал шум. Обернувшись, он увидел, что у операционного стола ссорятся две Смерти — Клиническая (*Mortus Clinicus*) и Обычная (*Mortus Vulgaris*).

Сначала он принял их за родственниц больного: сморщенные выцветшие лица, тёмная одежда, длинные сухие пальцы, стремительно выпадающие из рукавов.

— Мария, зачем они здесь, выведи их, — сказал хирург медсестре.

Но сестры уже не было — сразу после операции она отлучилась по нужде.

— Ты дура! — кричала Клиническая Смерть Смерти Обычной. — Он просто в шоке, он побудет со мной немного и вернется назад.

— Нет, это ты — дура и ничего не понимаешь, — спокойно возражала Смерть Обычная. — Зачем ему жить, если он уже умер? Он мой навсегда.

— Нет, стерва, я тебе его не отдам. Я его побаюкаю и отпущу. А ты никого и никогда не отпускаешь.

— Да. Потому что я честная. Я беру сразу и навсегда. А ты — девка! Дрянь! Проститутка! Да ещё и бесплатная. Ты даёшь им надежду. И это ужасно!.. Они тебе верят — верят, что можно вернуться — пить вино, писать стихи, целовать любимых. Но ведь потом — потом всё равно приду я, самая обычная!

Они кричали всё громче и громче.

Не в силах вынести спора разъяренных мегер, хирург вышел из палаты, достал сигарету и закурил. Странно, но он смог зажечь сигарету только с третьей попытки. А ведь раньше у него никогда не дрожали руки.

Бергамо оставил на память хирургу стихотворение:

\* \* \*

*Что могу у тьмы украсть я?  
Вместо счастья — луч запыстья,  
на котором был браслет,  
а теперь браслета нет,  
но остался узкий след,  
Нежный свет — во мраке лет.  
А теперь и следа нет.*

**Арсений ТАРКОВСКИЙ**  
(1907 — 1989)

*И под сенью случайного крова  
Загореться посмертно, как слово.*

Тарковский верил в профетическую сущность поэзии, в тождество «поэт — пророк». Ну а судьба пророка известна — побитие камнями, распятие и т. д.

*Из просеки, лунным стеклом  
По самое горло залитой,  
Рулады свои напролом  
Катил соловей знаменитый.*

*Он пел, потому что не мог  
Не петь, потому что у крови  
Есть самоубийственный срок  
И гибель — без всяких условий. <...>*

### **Война. Ранение в 1943-м**

Подобрали Тарковского под утро, когда он едва не погиб от потери крови и холода. Везли его и других раненых на джипе с железным кузовом. Джип привозил на передовую снаряды, обратным рейсом забирал раненых.

Боль была так сильна, что уходила куда-то за пределы восприятия. Санитаров не было, пришлось прыгать на одной ноге из последних сил. Кто-то из легкораненых помог Тарковскому забраться в кузов. Затем — тряска в голом кузове. Не в силах держаться, раненые бились друг о друга, как тряпичные куклы. Выгрузили их в деревне, где был полевой госпиталь. Санитаров не хватало и здесь, и раненые сами вываливались на землю.

*Стол повернули к свету. Я лежал  
Вниз головой, как мясо на весах,  
Душа моя на нитке колотилась,  
И видел я себя со стороны:  
Я без довесков был уравновешен  
Базарной жирной гирей.*

*Это было*

*Посередине снежного щита,  
Щербатого по западному краю,*

*В кругу незамерзающих болот,  
Деревьев с перебитыми ногами  
И железнодорожных полустанков  
С расколотыми черепами, чёрных  
От снежных шапок, то двойных, а то  
Тройных.*

*В тот день остановилось время...*

Грубый дощатый операционный стол. Он ладонями чувствовал его шероховатость.

— Нужно отнимать ногу...

— А может, без этого, доктор?

— Нет, без ампутации нельзя.

— Но я же её чувствую!

— Галлюцинации. Отнимем по возможности меньше.

— Но я чувствую...

— Если оставить так, умрёте по дороге в тыловой госпиталь, капитан. Будет заражение крови.

— Хорошо, режьте.

На соседних столах оперируют других. Страшные, огромные ампутационные ножи. Кости отпиливают пилой. Стоны. Крики в голос. Обезболивающих не дают — нет морфия.

Его намертво привязывают к столу.

Врач — сестре:

— Хлорэтил, внутривенно. Жгут. Столик для обработки.

Дикая боль. Повернув голову, он видел страдания других оперируемых, видел, как режут, пият и зашивают, как течёт кровь. С тех пор так и осталось — при виде чужой крови возникала фантомная боль в несуществующей, ампутированной ноге...

*«На войне я понял, что скорбь — это очищение. Память об ушедших делает с людьми чудеса. Я видел, как одна женщина переменила совершенно образ жизни после смерти сына, сообразуя с памятью о нём свои поступки.*

*На войне я постиг страдание. Есть у меня такие стихи, как я лежал в полевом госпитале, мне отрезали ногу. В том госпитале повязки отрывали, а ноги отрезали, как колбасу. И когда я видел, как другие мучаются, у меня появлялся болевой рефлекс. Моя нога для меня — орган сострадания. Когда я вижу, что у других болит, у меня начинает болеть нога».*

По дороге в тыл он едва не погиб. Санитарный поезд должен был идти через Москву. Ночью в теплушке его обожгла мысль: удрать! В Москве слезть с поезда, а там — слава Богу, пистолет в кармане! — как-нибудь доберётся до дома. Жить! — стучало сердце.

Но поезд направили кружным путём, минуя столицу.

Однажды раненых выгрузили из теплушек. От товарной станции до вокзала — всюду были носилки с ранеными, прямо на земле в несколько рядов. Вонь, смрад, грязь. Раненые справляли нужду под себя. Оглядевшись, Тарковский спросил ближайшего:

— Браток, давно здесь?

— Неделю или две, не помню...

— Вас хоть кормят?

— Так, иногда.

Погибнуть здесь, на тыловой станции, после того как он выжил в аду войны?

Достав пистолет, Тарковский выстрелил в воздух три раза. Подбежали двое санитаров, и он приказал доложить о себе начальнику станции.

После всех передрыг Тарковский оказался в госпитале в Калининe. И здесь — дикая неустроенность, замусоренность. Выбитые окна заткнуты плащ-палатками. Санитара не дозваться. В туалет приходилось добираться ползком.

На соседней койке черноглазый человек говорит:

— Вы умрёте. У вас газовая гангрена.

— Вы что, пророк?

— Я врач. Вас неправильно оперировали. У вас рана большая, с ушибленными краями, повреждены кости. Нужно было делать рассечение...

С другой стороны лежит капитан. Он не выпускает из правой руки пистолет. Ему так и загипсовали руку — с ТТ. Если в палате появляется санитар, он направляет на него пистолет:

— Становись на колени.

Санитар становится.

— Зови сестру. Считаю до трёх.

У санитара придурковатое рябое лицо. Он кривит губы:

— И как же нас, орловских, немцы мучили! И в полицаи заставляли иттить, а таперь ишо и вы!

— Раз, два...

Санитар орёт дурным голосом. Появляется сестра.

Капитан направляет пистолет на неё и заставляет сестру отдавать приказы санитару. Пока санитар не приносит требуемое, капитан держит сестру на прицеле.

В палате одно утешение — гитара. Кому больнее других, просит: «Дай» — и бьёт по струнам, заглушая боль. Играть не умеет никто, но просят все.

Тарковский послал в Москву на разные адреса одиннадцать телеграмм с просьбой о помощи. Откликнулся только Сергей Михалков. (Так мне рассказывал сам Тарковский. Марина Тарковская приводит другую версию — что это был не Сергей Михалков, а Виктор Шкловский). Он прислал ходатайство от Союза писателей, и по приказу военного комиссара госпиталя Тарковского перевели в офицерскую палату, небольшую, на две койки. Но радоваться этому не было сил.

...Читать он не мог. Мешала боль в культе. Прямо над койкой висела единственная в палате лампочка. Казалось, что она светит прямо в мозг и высверливает там тоненькое,

почти невидимое отверстие. Лампочка свисала очень низко. Когда было совсем невоготу, он протягивал руку и, обжигая пальцы, поворачивал лампу в патроне против часовой стрелки. Лампа гасла.

Он лежал в темноте и думал: какова ты будешь, бедная душа? Если ты станешь совсем непохожа на тело, то как же тебя узнают другие души, свидания с которыми он жаждет так, что жажду эту не уничтожит и его смерть? Если душа окажется слепком тела, то — Боже правый! — неужели она будет хромая? Конечно, он сможет передвигаться, благодаря своей бестелесности, но гармония пропорций, но архитектоника тела! Почему он должен думать, что у его души будут обе ноги, если одну из них отрезали два месяца назад?

А может быть, это будет нечто лишённое умозрительной формы?

Может быть, в иной ипостаси души будут осязать себя как нечто иное — дуновение, цвет, нежность, музыку?

Или это будет только растворённое сознание — каким в иные века представляли эфир, который будто бы пронизывает всё и существует, несмотря на абсолютную свою бесформенность и безвременность?

Может быть, вечность — это и есть всякое отсутствие времени, а бесконечность — всякое отсутствие пространства? И, может, душа — это есть полное отсутствие тела, а чувственность души — полное отсутствие физических ощущений? Тогда душе будет где поместиться в *после-смерти*, потому что она будет существовать в бессмертии, которое будет одновременно и отсутствием смерти, и отсутствием жизни. Душа жаждет бессмертия как своего осуществления в мире...

Вечная жизнь! Милый бред, отчаянная попытка человека, лежащего под нож хирурга, известного тем, что все его операции кончаются смертью оперируемого.

...Однажды Тарковский в очередной раз выкручивал лампочку над головой и вдруг почувствовал, что вслед за движениями руки как бы выкручивается из тела. Мгновение спустя он поднялся над самим собой. Он воспринял это спокойно, но было странно видеть внизу собственное тело на железной койке. С любопытством разглядывал он своё лицо, хрящеватый нос, небритые проваленные щеки... Он увидел, что под одеялом не обозначена правая нога. Длинные крупные руки вытянуты вдоль тела... Койка стояла у стены. Почему-то ему страшно захотелось посмотреть, что делается в соседней палате. Легко, без усилия он стал входить в стену, чтобы пройти сквозь неё. Он почти сделал это, когда внезапно ощутил, что находится слишком далеко от собственного тела и что ещё мгновение — и уже не сможет вернуться в него. В испуге он рванулся назад, завис над койкой и скользнул в тело, как в лодку. (В этом месте рассказа Тарковский обычно делал спиралеобразный жест ладонью).

И сразу — дикая боль в ноге, ощущение громоздкой тяжести физического бытия...

Потом и этот опыт отозвался в стихах:

*У человека тело  
Одно, как одиночка.  
Душе осточертела  
Земная оболочка.*

Умер он, как и предсказал, «под сенью случайного крова» — в палате ЦКБ 27 мая 1989 г.

Это была тихая смерть. Он не мучился, не испытывал больших болей, несмотря на характер заболевания.

...Очнувшись, он почувствовал, что перестает быть человеком. Потом наступил момент, когда на короткое время он почти собрал воедино свои видения, и всё это



мерцало цветными пятнами наподобие детских картинок, затем понеслось куда-то кругами, словно в гигантскую воронку, и исчезло в безысходности, оставив его навсегда.

Он умер, но это не значило, что он женичего не ощущал, — нет, жизнь постепенно покидала его ещё при жизни и теперь уходила из него с ускоренной постепенностью. Он был уже неспособен оценить свои видения, столь смутные, что им не было определения на языке живых. Они были похожи на обесцвеченные волокна в воде, они колебались, как прозрачные водоросли, не оставляя следа в его сознании, потому что вместе с жизнью он терял и память.

*Текст в расширенном варианте опубликован в книгах Александра Лаврина «Тарковские: отец и сын в зеркале судьбы» и «По ту сторону Леты».*